

Светлана Легкая

Второе *лето* Веры



18+

Светлана Легкая

Второе лето Веры

«Автор»

2026

Легкая С.

Второе лето Веры / С. Легкая — «Автор», 2026

Вере пятьдесят восемь. Муж умер, сын вырос и звонит между делом, а после выхода на пенсию она окончательно решила, что её жизнь уже прожита — тихо, прилично и для других. Но однажды серым петербургским утром приходит письмо из Италии: тётя Нина, которую Вера видела лишь раз в детстве, оставила ей старый дом с лимонным садом на берегу Лигурийского моря. Дом разваливается, сын требует продать его не глядя, а угрюмый сосед Марко — бывший капитан с серыми глазами и тяжёлым характером — сразу предлагает за него деньги. Вера отвечает отказом. Сама не зная почему. На чердаке она находит шкатулку с письмами, которые Нина так и не отправила. В них история запретной любви длиной в полвека — и тайна, связывающая две семьи. Этим летом Вере предстоит понять, что никогда не поздно распустить волосы, выйти в море и снова полюбить. Тёплый, чувственный роман о втором шансе, море, лимонах и о том, что самое главное лето может случиться, когда его уже не ждёшь.

© Легкая С., 2026

© Автор, 2026

Содержание

Глава	5
Часть первая. Приезд	6
Глава 1. Письмо	6
Глава 2. Решение	15
Глава 3. Дом	24
Глава 4. Незнакомец	32
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Светлана Легкая

Второе лето Веры

Глава

Часть первая. Приезд

Глава 1. Письмо

Будильник Вера отключила ещё в июне, но просыпалась всё равно без двадцати семь. Тело тридцать два года ходило к первому уроку и не собиралось верить в пенсию на слово.

Она полежала, слушая, как по жестяному карнизу стучит что-то среднее между дождём и снегом. В ноябре в Петербурге не бывает погоды, бывает состояние воздуха. Свет за шторой был цвета остывшего чая, и определить по нему, семь сейчас утра или три часа дня, не взялся бы ни один синоптик.

В семь она всё-таки встала. Халат, тапки, коридор. У двери в большую комнату нога сама сделала маленький крюк влево, в обход половицы, которая скрипела. Скрипела она, в сущности, только для Сергея: он просыпался от любого звука, и Вера тридцать лет обходила это место, когда ночью шла на кухню за водой. Сергея четыре года нет, а половица осталась, и нога по-прежнему вежливо её огибает, как огибают спящего.

На кухне она поставила чайник, отрезала кружок лимона — лимон был магазинный, твёрдый, как теннисный мяч, и пах больше сеткой, в которой лежал, чем собой, — и полила герань.

Герань стояла на подоконнике в трёх горшках, красная, мясистая, с тем густым аптечным запахом, от которого у Веры всегда слегка першило в горле. Разводил её Сергей — с инженерным упорством, которое он вообще прикладывал ко всему, что росло, текло или несло нагрузку. Черенковал, пересаживал, подкармливал по схеме, записанной на обороте старой квитанции за свет. Квитанция до сих пор держалась на откосе на пожелтевшем скотче: «Май — азот. Август — калий. Зимой не трогать!» Восклицательный знак был подчёркнут дважды. Зимой Вера не трогала. В мае и августе покупала в хозяйственном маленькие бутылочки с синей жидкостью и отмеряла колпачком, как лекарство. Она не любила эту герань ни одного дня из тех тридцати с лишним лет, что они прожили на одном подоконнике, и ни разу не пропустила полив.

Чайник щёлкнул и затих. Вера села на своё место, у стены, лицом к окну, и посмотрела на стул напротив. Стул был чуть отодвинут от стола, как будто человек встал на минуту — за газетой, за очками, ответить на звонок. Отодвигала его, конечно, она сама, когда мыла пол. Каждый раз собиралась задвинуть до конца и каждый раз оставляла эти двадцать сантиметров.

Во дворе-колодце кто-то уронил крышку мусорного бака. Звук поднялся по стенам до пятого этажа и заглох в водосточной трубе. Вера пила чай и смотрела, как на стекле медленно съезжает вниз мокрая снежинка, похожая на выдавленную кляксу. Можно было бы написать на запотевшем стекле что-нибудь пальцем, как в детстве. Она подумала, что бы такое написать, и ничего не придумала.

Бродский когда-то обещал прийти на Васильевский умирать. Вера на Васильевском просто жила, и разница между этими двумя занятиями в последнее время казалась ей не такой уж принципиальной.

«Ну, началось», — сказала она себе строгим голосом, каким говорила девятиклассникам, когда те начинали читать Есенина с подвыванием. Жалеть себя до восьми утра было неприлично. После восьми, впрочем, тоже.

Она достала из ящика стола блокнот в клетку — у неё всегда был блокнот, на каждый месяц новый, — и записала:

1. Аптека (глазные капли, магний). 2. Квитанции. 3. Позвонить Люде — у Тёмы в пятницу день рождения, что дарят в семь лет? 4. Разобрать антресоль.

Пункт четвёртый переходил из блокнота в блокнот с мая. Антресоль была Сергеева: там лежали его чертежи, свёрнутые в тугие трубки, коробка с какими-то реле и два походных котелка, в которых за тридцать лет ни разу ничего не варили. Вера всякий раз доставала стремянку, ставила её под антресоль, смотрела вверх, как на отвесную скалу, и уносила стремянку обратно на балкон.

Первые месяцы на пенсии она ещё держалась. Вымыла окна — все, включая кладовку, где окна не было, только форточка под потолком. Перебрала книги и расставила по алфавиту, потом решила, что по алфавиту глупо, и расставила по векам. Сходила в Эрмитаж в будний день, как всю жизнь мечтала, — постояла у «Возвращения блудного сына», ощутила себя одновременно и сыном, и отцом, и, кажется, тем невнятным персонажем в тени, которого никто никогда не замечает, — и вернулась домой к четырём. К сентябрю окна снова запылились, книги стояли по векам, а утро по-прежнему начиналось без двадцати семь и не знало, куда себя деть.

В сентябре было хуже всего. Первого числа она проснулась в шесть, надела выглаженную с вечера блузку — она сама не поняла, когда успела её выгладить, — и только у зеркала в прихожей, уже с сумкой на плече, остановилась. В школе на Седьмой линии в это время выстраивались на линейку. У неё там был бы одиннадцатый «Б», который она не успела довести до выпуска. Вера сняла блузку, повесила её в шкаф и до обеда просидела на кухне, решая кроссворд, в котором так и осталось незаполненным слово из шести букв «состояние покоя».

Телефон зазвонил в девять пятнадцать, как обычно, и Вера, как обычно, взяла на втором гудке, чтобы не показаться человеком, который сидит у телефона.

— Мам, привет, я на громкой, еду, у меня пять минут.

У Димы всегда было пять минут. Когда ему было девять, он говорил так же — «у меня пять минут, я к Лёшке», — и этот деловой тон до сих пор умилял её больше, чем она в том признавалась.

— Здравствуй, милый. Как вы?

— Нормально. Сонька в сад опаздывает, Ольга на созвоне, я в пробке на Ленинградке. Ты как? Давление мерила?

— Мерила, — соврала Вера.

— Сколько?

— Как у космонавта.

— Мам.

— Сто тридцать на восемьдесят пять, — сказала она, выбрав цифры, которые не вызовут ни паники, ни лекции.

— Ну нормально. Таблетки пьёшь?

— Пью.

На заднем плане что-то захрустело, потом раздался высокий, звенящий голос, от которого у Веры сразу стало тепло под рёбрами:

— Бабушка-а! У нас в садике живёт черепаха! Её зовут Мармеладка, и она ест огурец!

— Правда? — Вера невольно наклонилась к телефону, словно так было ближе. — А она красивая, Сонечка?

— Она старая. Ей тридцать лет. Как папе почти.

— Соня, папе тридцать три, — сказал Дима с обидой человека, у которого отняли три года жизни. — Мам, слушай, я чего звоню. Мы на Новый год, скорее всего, к Ольгиным в Тулу. Ты приедешь? Или, может, лучше ты к нам после, числа пятого? Там спокойнее будет, без этой толпы.

«Этой толпы» — это были Ольгины родители, её сестра с мужем и их близнецы. Вера была в Туле однажды, на Сонины крестины, и помнила, как все очень старались быть к ней внимательными — сажали поближе к батарее, подкладывали салат, спрашивали, не дует ли.

Так ухаживают за пожилой родственницей. Она тогда впервые поняла, что она — пожилая родственница.

— Посмотрим, — сказала она. — Пятого, наверное, хорошо.

— Ну и отлично. Я тебе билет куплю, Сапсан, как в прошлый раз, у окна. Слушай, мам, ещё... Ольга тут нашла, в Питере есть какие-то программы, ну, для активного... возраста. Скандинавская ходьба, танцы, английский. Бесплатно, от района. Может, тебе запишешься? А то ты там одна сидишь.

— Для пенсионеров, договаривай.

— Мам, ну я не это имел в виду.

— Я знаю, что ты имел в виду. Спасибо Оле. Я подумаю.

— Подумай. Тебе надо двигаться. Всё, мам, приехали, Сонька, отстёгивайся... Целую. Давление меряй.

— Целую. Сонечке — привет от Мармеладки.

— Чего?

Но он уже отключился.

Вера положила телефон на стол экраном вниз, посидела, потом открыла блокнот и под пунктом четвёртым мелким, аккуратным почерком дописала: «5. Мерить давление». И рядом, ещё мельче: «как у космонавта».

Она не обижалась. Честное слово, не обижалась. Дима её любил, звонил каждое утро, покупал билеты у окна, помнил про таблетки. Так же когда-то заботился о ней Сергей: знал, что ей нужно, раньше, чем она сама успевала захотеть. Вера всю жизнь прожила внутри этой разумной, тёплой заботы, как в хорошо протопленной комнате, и только в последнее время начала замечать, что в комнате, кажется, нет окна.

Она вымыла чашку, вытерла её полотенцем и поставила в сушилку ручкой вправо, как ставил Сергей.

*

Извещение лежало в почтовом ящике, между рекламой пластиковых окон и газетой районной управы, которую никто никогда не выписывал, но которая приходила с упорством старой любовницы. Серый бланк, заполненный от руки: «Заказное. Международное. Получить в отделении 199178 в течение 30 дней». В графе «откуда» стояло одно слово, выведенное старательными печатными буквами, как пишут незнакомое: ИТАЛИЯ.

Вера перечитала его три раза, стоя в парадной под лампочкой, которая мигала с тех пор, как управляющая компания сменила подрядчика. Из Италии ей не писал никто. Из Италии ей вообще никто не мог писать. У неё там не было ни друзей, ни бывших учеников — впрочем, бывшие ученики теперь жили где угодно, от Хельсинки до Тбилиси, и присылали фотографии детей в мессенджер, а не заказные письма.

«Мошенники», — подумала она голосом Димы. Дима регулярно присылал ей ссылки на статьи о том, как пенсионеров обманывают по телефону, и один раз даже прислал целую инструкцию в картинках: старушка с телефоном, красный крест, зелёная галочка. Вера тогда долго смотрела на старушку и пыталась понять, похожа ли.

Но мошенники, насколько она знала, не тратились на международные почтовые отправления.

Она надела пальто и пошла на почту.

На Среднем проспекте мокрый снег превратился в мелкий, злой дождь, который летел не сверху, а сбоку, со стороны залива, и попадал ровно в тот промежуток между шарфом и воротником, который невозможно закрыть никаким шарфом. Трамвай на Восьмой линии прошёл, звякнув, почти пустой. У булочной на углу курила продавщица в фартуке поверх пуховика, и пар от её дыхания и дым от сигареты сливались в одно облачко. Вера шла быстро, по-петер-

бургски, опустив голову и огибая лужи, расположение которых на этом отрезке знала лучше, чем расположение звёзд.

В отделении была очередь из пяти человек и одно работающее окно из трёх. Перед Верой стоял старик в каракулевой шапке с посылкой, обвязанной бечёвкой крест-накрест, — таких посылок, подумала Вера, никто не отправляет с восьмьдесят девятого года. Старик отправлял её в Саратов, долго выяснял, почему бечёвку нельзя, и в конце концов, ворча, позволил операторше замотать всё скотчем поверх бечёвки. Вера смотрела на его руки в пигментных пятнах, на то, как бережно он придерживал коробку, пока её заматывали, и думала, что внутри наверняка варенье. Или книги. Кто сейчас отправляет книги в Саратов?

— Следующий!

Операторша — молодая, с зелёными ногтями и таким выражением лица, будто её здесь держат против воли, — взяла извещение, паспорт, ушла куда-то за стеллажи и пропадала там достаточно долго, чтобы Вера успела придумать четыре версии. Ошибка адресата. Выигрыш в лотерею, в которую она не играла. Письмо от давно забытого одноклассника, эмигрировавшего в восьмидесятые. Какая-нибудь бумага насчёт Сергеевой премии за мост через Свирь, которую ему так и не выплатили, — хотя при чём тут Италия?

— Распишитесь.

Конверт был плотный, кремовый, большого формата, с тиснёным гербом в левом верхнем углу: щит, над ним что-то вроде короны. Три марки с незнакомыми лицами. Обратный адрес напечатан, а не написан: *Studio Notarile Avv. Emilio Tozzi, Piazza Santa Margherita 4, 16038 Porto Salvia (GE), Italia*. Её имя латиницей — *Sig.ra Vera Andreevna Sokolova* — и адрес, тоже латиницей, но совершенно правильный, даже с номером квартиры и с тем, что «В.О.» расшифровано как «Vasilyevsky Ostrov». Кто-то очень старался.

— Из Италии, — сказала операторша, впервые за всё время проявив что-то похожее на человеческое любопытство. — Наследство, что ли?

— Что вы, — сказала Вера. — Наверное, какая-то ошибка.

Она не стала вскрывать конверт на почте. И на улице тоже не стала: убрала его во внутренний карман пальто, туда, где обычно лежал проездной, и всю дорогу домой чувствовала его ребром — плотный уголок упирался в грудь, как будто кто-то тихонько, но настойчиво трогал её пальцем: ну же, ну.

*

Дома она сделала всё, чтобы не открывать его сразу. Сняла пальто, повесила на плечики, сменила сапоги на тапки, поставила сапоги сушиться на газету. Включила чайник, хотя пила чай час назад. Нашла очки — они висели у неё на груди на цепочке, но она всё равно сначала поискала их на столе. Нашла нож для бумаги — костяной, с резной ручкой, подарок выпускников две тысячи восьмого года. И только тогда села за кухонный стол, положила конверт перед собой и разрежала его аккуратно по короткой стороне, как её учили в детстве разрезать письма.

Внутри было три листа, сколотых скрепкой. Плотная бумага с тем же гербом. Письмо было на английском.

Английский у Веры был школьный, потом университетский, и потом — тридцать два года — никакой. Она читала на нём, как читают Диккенса в оригинале честолюбивые студентки: медленно, со словарём и с чувством исполненного долга после каждого абзаца. Словарь нашёлся на полке в комнате — синий, толстый, с отклеившимся корешком, на форзаце её девичья подпись и год: 1986. Вера принесла его на кухню, положила рядом, подвинула поближе лампу и начала читать.

Синьор Эмилио Тоцци писал так, как, наверное, писали нотариусы во времена, когда в конторах ещё стояли чернильницы. «Милостивая государыня», — начинал он, и Вера не сразу нашла в словаре, что его *Dear Madam* в сочетании с последующим *it is my sorrowful duty* лучше

всего переводится именно так, по-старинному, с поклоном. «С прискорбием почитаю своим долгом известить Вас...»

Дальше она продиралась сквозь сложноподчинённые предложения, в которых каждое придаточное было вежливо и каждое деепричастие кланялось, и выписывала на полях блокнота слова, которые приходилось искать: *deceased* — скончавшаяся. *Testament* — завещание. *Sole heir* — единственная наследница. *Property known as* — недвижимость, известная как.

Смысл сложился не сразу. Сначала он проступал отдельными словами, как проступает сквозь запотевшее стекло пейзаж, когда проведёшь по нему ладонью. Потом, когда Вера прочитала письмо второй раз, уже без словаря, он встал целиком, и она некоторое время просто сидела, положив руки ладонями на бумагу.

Синьора Нина Павловна Ферри, урождённая Лаврова, скончалась девятнадцатого марта две тысячи двадцать шестого года в Порто-Сальвии, провинция Генуя, в возрасте восьмидесяти трёх лет. Согласно её завещанию, составленному и заверенному в конторе синьора Тоцци, всё её имущество, а именно: дом с прилегающим садом, известный в посёлке как «Вилла Лимоне», а также находящаяся в нём движимость, — переходит к её двоюродной племяннице, синьоре Вере Андреевне Соколовой, проживающей в Санкт-Петербурге, Российская Федерация.

Синьор Тоцци приносил глубочайшие извинения за то, что известие приходит столь поздно. Поиски наследницы, писал он, потребовали времени: покойная синьора Ферри оставила лишь адрес, и тот, как выяснилось, нуждался в подтверждении через консульство, что при нынешних обстоятельствах — Вера уловила тут нотариальный вздох даже сквозь английский — заняло больше месяцев, чем он смел бы предположить.

Дальше шли формальности. Наследство необходимо принять, для чего желательно личное присутствие наследницы, хотя возможно и действие по доверенности. Синьор Тоцци готов оказать всяческое содействие. Он также считает своим долгом — это было подчёркнуто оборотом *I feel obliged to warn you*, который Вера перевела как «не могу не предупредить», — сообщить, что дом не находится в наилучшем состоянии, поскольку в последние годы покойная синьора Ферри из-за нездоровья не имела возможности уделять ему должного внимания.

«Засим остаюсь Вашим покорнейшим слугой», — хотелось дописать Вере в конце. Там стояло *Yours faithfully* и подпись — неожиданно размашистая, с завитком, для такого церемонного письма почти легкомысленная.

Второй и третий листы были копиями на итальянском: выписка из завещания и какая-то справка с печатями. Вера их пролистала. Итальянский она не знала совсем, но на второй странице глаз зацепился за знакомое сочетание латинских букв: *Vera*. И рядом, в скобках, от руки: *Верочка*. Кириллицей. Кто-то — наверное, сама Нина — вписал это в официальную бумагу, прямо поверх нотариального текста, и нотариус оставил, не стал возражать.

Вера сняла очки и потёрла переносицу.

Нина умерла в марте. В марте Вера проверяла сочинения по «Грозе». В марте у неё был открытый урок для методистов из района, и она три дня подряд вставала в пять, чтобы доделать презентацию. В марте она купила себе новые сапоги — вот эти, которые сейчас сохли на газете. В марте в каком-то посёлке на берегу моря, о котором она ничего не знала, умерла женщина, которая вписала её уменьшительное имя в завещание, а Вера в это время выбирала сапоги и ни о чём не догадывалась.

Никто ей не сообщил. А кто бы сообщил? Вся родня, которая могла бы, давно лежала на Смоленском, на Северном и на Серафимовском. Мама умерла в пятнадцатом. Мамина сестра, тётя Шура, — ещё раньше. Нина была последней из того поколения, последней веткой на дереве, которое Вера никогда толком не видела целиком, и эта ветка отломилась в марте, беззвучно, где-то за тысячи километров.

Вера встала, налила себе чаю, забыла положить лимон и выпила так, горячим, обжигая язык.

Потом она вспомнила открытку.

*

Это было в шестнадцатом году, весной. Мамы не стало в ноябре, и всю зиму Вера не могла заставить себя разобрать её квартиру на Гражданке. Сергей предлагал нанять кого-нибудь, Дима предлагал приехать, но Вера упрямо ездила туда сама по субботам и перебирала вещи по одной полке за раз. Мама хранила всё. Коробки от обуви с квитанциями за шестидесятые годы. Пуговицы в банках из-под кофе. Вырезки из «Работницы» с выкройками. Письма от тёти Шуры, перевязанные ленточкой от торта.

И в самом низу нижнего ящика комода — тонкую пачку открыток без ленточки, просто перетянутую аптечной резинкой, которая от старости прилипла к картону.

Открыток было двадцать шесть. Вера их пересчитала. Все из Италии, все на Рождество, по одной в год, начиная с девяностого, — раньше, видимо, писать за границу было себе дороже. На каждой — что-нибудь лимонное: лимонное дерево в кадке, натюрморт с лимонами на синей скатерти, девушка с корзиной лимонов, рисованная в манере старинной рекламы. На обороте — несколько строк фиолетовыми чернилами, наклонным, очень быстрым почерком, будто рука торопилась обогнать мысль. «Галочка, с Рождеством. У нас тепло, цветёт мимоза, я думаю о тебе и о Верочке. Н.» Или: «Галочка, я знаю, что ты не ответишь. Я всё равно буду писать — из вредности, ты же помнишь, какая я вредная. Н.» Или совсем коротко: «Жива. Скучаю. Твоя Н.».

Каждая лежала в своём конверте, и каждый конверт был надорван только по краю, на два пальца, — ровно настолько, чтобы убедиться, от кого. Вера почему-то сразу поняла, что дальше мама не читала. Получала, надрывала, узнавала почерк и складывала в нижний ящик. Не выбрасывала. Не отвечала. Двадцать шесть лет.

Последняя пришла в Рождество пятнадцатого года, через месяц после маминой смерти, и Вера нашла её не в комоде, а в почтовом ящике на Гражданке, когда приехала в январе забирать квитанции. Нина не знала, что писать уже некому.

Вера тогда села на табуретку в пустой маминой кухне и долго держала эту открытку в руках. Потом купила в киоске на станции метро обычную почтовую карточку — с видом Невы, с разводным мостом, самую простую, — и написала на ней, что мама умерла в ноябре, что ушла тихо, во сне, и что открытки Нины все сохранились. Подумав, приписала свой адрес. Больше ничего не приписала, потому что не знала, что ещё можно написать женщине, которую ты видела один раз в жизни и которая двадцать шесть лет писала в пустоту.

Ответ пришёл через месяц. Открытка с одиноким лимоном на ветке, на белом фоне, почти японская по пустоте. На обороте фиолетовым:

«Верочка. Спасибо, что написала. Я думала, от нашей семьи остались одни надгробия и одна я, которая скоро тоже в них запишется. Оказывается, есть ещё ты. Это очень меняет пейзаж. Н.»

Вера собиралась ответить. Честно собиралась. Открытка стояла у неё на книжной полке, прислонённая к собранию Паустовского, всю весну. Но была весна, были экзамены, выпускной одиннадцатый, Сергей затеял перекладывать печь на даче, у Димы родилась... нет, Соня родилась позже. Просто — была жизнь. Сначала было рано, потому что Вера не знала, что написать. Потом было неудобно, потому что прошло слишком много времени. А потом стало поздно, и это «поздно» превратилось в привычку, в которой уже не было ни вины, ни даже памяти, — просто открытка, которую при очередной уборке переставили с полки в ящик.

Где она сейчас? Вера не помнила. Вероятно, в той же коробке, что и мамины двадцать шесть. Вероятно, на антресоли, куда она не могла залезть с мая.

Выходило, что Нина всё-таки дождалась ответа. Одного за двадцать шесть лет. И сохранила адрес. И вписала в завещание: *Верочка*.

*

Вера помнила её. Не так, как помнят родственников по фотографиям — неподвижно, в выходной одежде, — а так, как помнят вспышку: одно мгновение, но очень ярко, и потом ещё долго на сетчатке пляшет пятно.

Лето семьдесят девятого. Вере одиннадцать. Июль, жара, какая иногда случается в Ленинграде раз в десять лет, и тогда весь город ходит с мокрыми волосами и сидит на ступенях у Невы. Они с мамой живут ещё на Петроградской, в двух комнатах коммуналки, и из окна видно чужое бельё на верёвках. Отец ушёл четыре года назад, и о нём в доме не говорят, как не говорят о покойнике, которого никто не любил.

Звонок в дверь — два коротких, это к ним. Мама открывает, и Вера из комнаты слышит, как мамин голос меняется. Становится тонким и ровным, как проволока. «А, это ты. Заходи. Только ненадолго, у меня стирка».

У мамы всегда была стирка, когда ей не хотелось с кем-то разговаривать.

Нина вошла в их кухню так, будто кухня была летней верандой. Вера это запомнила точнее всего: как изменилось само пространство. Как будто кто-то открыл окно, хотя окно было открыто и до того. Нина была в светлом платье без рукавов, с тонким пояском, и у неё была короткая стрижка — очень короткая, почти мальчишеская, на которую соседка тётя Зина потом полчаса смотрела в коридоре с таким лицом, будто увидела на голове у женщины рыбу. Ей было тридцать шесть, но Вере она показалась одновременно очень взрослой и совсем девчонкой, какой-то старшей подругой из книжки, которой у Веры никогда не было.

И запах. Он вошёл в кухню впереди неё и остался там после, на несколько дней. Не «Красная Москва», которой пахли учительницы, и не «Ландыш», которым пахла мама по праздникам. Что-то незнакомое: прохладное, пудровое, похожее на запах фиалки, если бы фиалку положили в холодную воду, — и под этим, в самой глубине, что-то горькое. Как корочка у апельсина. Как полынь. Много позже, уже взрослой, Вера узнала, что это был ирис, и долго стояла в парфюмерном отделе Гостиного двора, нюхая пробники на бумажных полосках и пытаясь найти тот самый. Не нашла. Все ирисы пахли просто цветами.

Мама и Нина сидели за столом и говорили вполголоса. Вере велели идти в комнату, и она пошла, но оставила дверь приоткрытой, и из разговора до неё долетали только обрывки. «... ты понимаешь, что ты делаешь?» — мамин голос. «Прекрасно понимаю. Первый раз в жизни понимаю». — «Он же тебе в отцы...» — «Не в отцы. Ему сорок пять. И он добрый, Галя. Он просто добрый человек». — «Добрый. Капиталист добрый». И Нинин смех — короткий, хриловатый, совсем не обиженный. «Ну да. Бывает и такое. Представь себе».

Потом Нина вышла в коридор, остановилась у двери в комнату и увидела Веру, которая, разумеется, стояла прямо за этой дверью с книжкой в руках, делая вид, что читает.

— Ты Верочка, — сказала Нина. Не спросила — сказала.

Вера кивнула.

— Что читаешь?

Вера показала обложку. Это был «Остров сокровищ», библиотечный, с выдранной картой.

— Хорошая книжка, — сказала Нина серьёзно. — Там все врут, а читать всё равно интересно. Как в жизни.

Она присела на корточки — прямо в светлом платье на коммунальном полу, который мыли по графику и поэтому плохо, — и вынула из сумки плоскую жестяную коробку. Синюю, с жёлтыми нарисованными лимонами и надписью не по-русски, завитушками. Открыла. Внутри лежали леденцы — прозрачные, жёлтые, в сахарной пудре, каждый в своей круглой ячейке.

— Бери.

Вера взяла один. Он был кислым до слёз и сладким до головокружения, и во рту от него стало прохладно, как будто она лизнула сосульку, облитую сиропом.

— Бери все, — сказала Нина и закрыла коробку и вложила её Вере в руки. — Мне там их хватит. Там, говорят, лимоны прямо на деревьях растут. Как у нас рябина.

Вера не знала, что сказать, и сказала «спасибо», как её учили. Нина посмотрела на неё — внимательно, очень близко, у неё были тёмные глаза с какими-то золотыми точками, — и вдруг сказала, тихо, чтобы не услышали в кухне:

— Не будь хорошей девочкой, Верочка. Будь живой.

И встала, отряхнула платье, поцеловала Веру в макушку — от неё пахло ирисом и немного табаком — и ушла. Дверь хлопнула, и в коридоре стало темнее, чем было до её прихода.

Мама потом очень долго мыла чашку, из которой пила Нина. Намылила, сполоснула, снова намылила. Вера стояла в дверях кухни и смотрела на мамину спину.

— Она уехала к капиталистам, — сказала мама, не оборачиваясь. — Бросила всех. Запомни, Вера: так поступают люди, которые думают только о себе.

Вера запомнила. Она вообще всё запоминала, у неё была хорошая память, это потом ей очень помогло на филфаке. Она запомнила и мамины слова, и Нинины, и всю жизнь носила их в себе рядом, как два камешка в одном кармане, — и ни разу не задумалась, какой из них тяжелее. Просто старалась быть такой, какой её хотела видеть мама. Не думать только о себе. Не хотеть лишнего. Быть хорошей девочкой. Это у неё отлично получалось.

А коробку она прятала. Под матрас, потом в пенал, потом, когда пенал стал мал, — в ящик со школьными тетрадами. Леденцы она ела по одному в неделю, по воскресеньям, чтобы растянуть, и растянула до октября.

*

Коробка и сейчас лежала в нижнем ящике старого бабушкиного комода, где Вера держала нитки. Вера вынула её, села обратно за стол и положила рядом с письмом синьора Тоцци.

Синяя краска стёрлась по краям до металла, лимоны поблёкли и стали цвета старой слоновой кости, завитушки надписи наполовину исчезли. Если приглядеться, можно было разобрать ...*monet* и ...*ento*. Внутри, в круглых ячейках, лежали пуговицы: перламутровая от маминной блузки, три медные от Сергеевой штормовки, детская, в виде божьей коровки, с Диминой курточки, и множество других, ничьих, случайных, которые копятся в любом доме, как копятся годы.

Вера наклонилась и понюхала открытую коробку. Конечно, она пахла только металлом и чуть-чуть машинным маслом. Сорок семь лет — достаточный срок, чтобы выветрился любой запах. Но она всё равно понюхала, как ребёнок, который прикладывает ракушку к уху, заранее зная, что никакого моря там нет.

За окном стемнело, хотя было всего начало пятого. Во дворе-колодце зажглись окна напротив, и в одном из них, на третьем этаже, женщина в розовом халате раскатывала тесто. Вера смотрела на неё и думала, что за тридцать лет, прожитых в этой квартире, так и не узнала, как её зовут.

Нужно было позвонить Диме. Нужно было перевести письмо целиком, записать вопросы, составить список. Нужно было понять, что вообще делают с домом в Италии, если ты пенсионерка с Васильевского острова, у которой из иностранных документов есть только загранпаспорт, выданный восемь лет назад для поездки в Финляндию, куда они так и не поехали.

Вместо этого Вера взяла большой кремовый конверт и зачем-то его встряхнула.

Изнутри выскользнуло и упало на клеёнку что-то маленькое, плотное, прямоугольное. Она не заметила его сразу — оно прилипло к внутренней стороне конверта, у самого сгиба, как прилипает забытая фотография к странице старой книги.

Это и была фотография. Цветная, но выцветшая до того тёплого, медового оттенка, в который со временем переходят все цветные снимки девяностых. Дом на склоне. Двухэтажный, цвета охры — той охры, которая бывает на старых итальянских картинах, когда краска уже

наполовину ушла в штукатурку и осталась лишь её память. Зелёные ставни, одна приоткрыта. Терраса с каменной балюстрадой, заросшей чем-то вьющимся, с мелкими белыми цветами. На переднем плане — ветки, тёмная, глянцевая листва, и среди листвы — жёлтые пятна. Сначала Вера подумала, что это солнечные блики. Потом поняла: лимоны. Десятки лимонов, прямо на деревьях, как рябина.

А за домом, за балюстрадой, за краем кадра, — ничего. Только синее. Очень синее, до самого верхнего края снимка, так что было не разобрать, где кончается море и начинается небо.

Вера держала фотографию двумя пальцами за самый уголок, как держат что-то, что может рассыпаться. Потом, почти не думая, перевернула её.

На обороте, фиолетовыми чернилами, наклонным почерком — тем самым, летящим, из двадцати шести маминых открыток, только теперь буквы дрожали и заваливались, будто их писала рука, которой уже трудно было удержать ручку, — было написано всего четыре слова:

«Верочка, приезжай весной».

Глава 2. Решение

Дима перезвонил в половине одиннадцатого вечера, когда Вера уже решила, что он не перезвонит. Она написала ему днём коротко, как пишут в телеграммах: «Пришло письмо из Италии. Нина умерла. Оставила мне дом. Позвони, когда сможешь». Через минуту в чате появились две серые галочки, потом две синие, потом ничего до самого вечера, и Вера весь вечер ходила по квартире и делала вид, что не прислушивается к телефону.

— Мам, прости, у нас тут Сонька температурила, только уложили. — Голос у него был усталый и приглушённый, наверное, говорил из ванной, как всегда, когда не хотел будить дочь. — Я не понял. Какая Нина?

— Нина Павловна. Мамина двоюродная сестра. Которая уехала в Италию в семьдесят девятом.

— А. — Пауза. Вера почти слышала, как он роется в памяти и ничего там не находит. — Ну, я про неё что-то слышал. Бабушка вроде говорила. Что-то нехорошее.

— Бабушка про неё только нехорошее и говорила.

— И она тебе оставила дом? В Италии?

— В Лигурии. Это на севере, у моря. Посёлок называется Порто-Сальвия.

— Подожди. — Что-то щёлкнуло, зашуршало. Вера поняла: он открыл ноутбук. Дима никогда ничего не принимал на веру, если это можно было проверить в интернете, и в этом он тоже был в отца. — Порто... Сальвия. Так. Генуя, провинция. Ого. Мам, ты видела, какие там цены?

— Я видела фотографию.

— Какую фотографию?

— Дома. Там лимоны растут. Прямо на деревьях.

— Мам. — Шуршание прекратилось. — Там метр стоит, как у нас на Патриарших. Ну, почти. Даже развалина у моря — это деньги. Серьёзные деньги. Ты понимаешь?

Она понимала. Она поняла это ещё днём, когда, сама себе удивляясь, набрала в поисковике «Порто-Сальвия недвижимость» и тут же закрыла вкладку, увидев первую цифру, как будто подглядела в чужое окно.

— Там в письме сказано, что дом в плохом состоянии.

— Да это неважно. Там земля. Вид. Такое покупают под снос, под гостиницы. — Он заговорил быстрее, тем голосом, которым, наверное, говорил на совещаниях. — Значит, так. Никуда ехать не надо. Оформляешь доверенность на меня или на юриста, я найду нормального, у нас в компании есть человек, который с Европой работает. Продаём дистанционно. Ты даже с дивана не встанешь.

— Дима...

— Мам, продай не глядя, я найду покупателя. Seriously. Я всё организую.

Вера сидела на кухне, в темноте, не включая свет, и смотрела на фотографию, прислонённую к сахарнице. В темноте охра дома казалась серой, а море — чёрным. Только лимоны ещё светились, как будто в них сохранилось немного дневного света.

— Я не знаю, — сказала она. — Я даже не видела этот дом.

— А зачем тебе его видеть?

Она не нашла, что ответить. Действительно, зачем.

— Нина написала, чтобы я приехала весной.

— Мам. — Теперь в его голосе была нежность, и от этой нежности почему-то стало хуже, чем от делового тона. — Ну какие лимоны? Тебе пятьдесят восемь, у тебя давление. Ты одна в Пулковое без меня заблудишься. Ты языка не знаешь. Там всё по-другому, налоги, законы, эти

их нотариусы... Тебя там облапошат за пять минут, ты даже не заметишь. Давай по-взрослому, а?

«По-взрослому» — это было Сергеево выражение. Сергей говорил так, когда решение уже было принято и оставалось только объяснить его Вере так, чтобы она согласилась. Он никогда не давил. Он просто излагал, спокойно и логично, почему всё будет вот так, и Вера кивала, потому что возразить было нечего: всё действительно было логично.

Где-то в глубине Диминой квартиры женский голос сказал что-то неразборчивое.

— Что? — Дима отвёл трубку. — Оль, я с мамой говорю... Да. Да, про дом.

Голос Ольги стал ближе, отчётливее:

— Дим, дай маме подумать. Это её тётя. Не твоя.

— Я ей и даю подумать. Я просто объясняю варианты.

Пауза. Потом снова Дима, уже в трубку, чуть тише:

— Мам, ты, конечно, подумай. Никто не торопит. Просто... Ну, это же правда деньги. Тебе бы хватило на всё. Ремонт бы сделала, на дачу, куда захочешь. И нам бы... — Он запнулся, и Вера услышала, как он проглотил окончание фразы, как глотают горячее. — Ладно. Неважно. Главное, чтобы тебе было хорошо.

— Что «вам бы»?

— Ничего, мам. Я устал, говорю ерунду. Давай завтра созвонимся, я поищу информацию. Ты там не переживай. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, милый. Поцелуй Соню.

Она положила телефон и ещё долго сидела в темноте. Ей хотелось рассказать ему про жестяную коробку. Про ирис и короткую стрижку, про «Остров сокровищ» с выдранной картой. Про то, как Нина присела в светлом платье на грязный коммунальный пол. Он не спросил. Ему было некогда, у него температурила дочь, у него была работа и эта недоговорённая фраза, которую он проглотил. Он не спросил, какой была Нина, и Вера вдруг подумала, что её саму, в сущности, тоже давно никто ни о чём таком не спрашивал.

*

В субботу пришли Тамара и Люда.

Они приходили раз в месяц, по субботам, уже лет пятнадцать, с тех пор как Люда перешла к ним в школу из Колпина. Сначала это были посиделки после педсоветов, потом — после похорон Сергея, когда обе две недели подряд приезжали каждый вечер и молча мыли посуду, которую Вера не пачкала. Теперь просто так. Вера пекла, Тамара приносила вино, которое пила одна, а Люда — какой-нибудь журнал с тестом «Какой вы цветок?», который они проходили втроём и всегда оказывались ромашками.

Вера испекла шарлотку. Яблоки были антоновские, с дачи Людиной свекрови, кислые, крепкие, и кухня пахла корицей и печёным сахаром так, что даже герань на подоконнике, кажется, на время сдала позиции.

Письмо синьора Тоцци лежало на столе. Вера положила его туда нарочно, до прихода подруг, а потом трижды перекладывала: сначала на холодильник, потом обратно на стол, потом под сахарницу. Фотографию она положила сверху.

Первой её заметила Тамара.

— Это что за Тоскана?

— Лигурия, — сказала Вера. — Это мой дом.

Тамара Георгиевна тридцать лет преподавала историю и привыкла, что слово за ней. Высокая, костистая, с короткой сединой, которую не красила из принципа, дважды разведённая, «по разу на каждую революцию», как она говорила. Она взяла фотографию, отодвинула на расстояние вытянутой руки — очки она не носила, тоже из принципа, — и некоторое время молча её разглядывала.

— Рассказывай, — сказала она.

Вера рассказала. Коротко, по пунктам, как рассказывала на педсоветах об успеваемости: письмо, Нина, завещание, дом. Про коробку не стала. Про «приезжай весной» сказала в самом конце, как бы между прочим.

Люда охнула и положила руку на сердце. Людмила Ивановна, биолог, маленькая, круглая, с мелкими кудряшками цвета «золотистый каштан», всю жизнь ахала и держалась за сердце, хотя сердце у неё было, по уверениям кардиолога, как у двадцатилетней.

— Верочка, но ты же не поедешь? — спросила она с ужасом.

— Я не знаю.

— Как — не знаешь? — Тамара положила фотографию. — Одна? В Италию? Верка, ты с ума сошла. — И она выразительно, по-школьному, покрутила пальцем у виска, как крутила, когда восьмиклассники рассказывали ей, что Куликовская битва была при Петре.

— Там же землетрясения, — сказала Люда. — Я читала. У них там всё время трясёт. И вулканы.

— Вулканы на юге, — сказала Вера. — Это север.

— И мафия. Мафия везде.

— Люд, мафия на Сицилии.

— А ты откуда знаешь, где она? Она же тайная!

Тамара фыркнула в бокал.

— Ладно мафия. Ты по-итальянски хоть слово знаешь?

— Знаю, — сказала Вера. — «Спагетти». И «чао».

— Вот. Этого как раз хватит, чтобы тебя там обобрали до нитки. — Тамара отрезала себе второй кусок шарлотки, щедрый, с краем. — Слушай меня. Продавай. Не глядя, через кого-нибудь. Дима твой пусть занимается, он у тебя деловой. А на эти деньги купи себе однушку в Зеленогорске. У залива. То же море, только наше. И ездить недалеко.

— Залив — это не море, — сказала Вера.

— Не придирайся. Вода есть вода. Сосны, воздух. Будешь гулять по пляжу, мы к тебе на электричке приедем.

— Я бы тоже продала, — осторожно сказала Люда. — Верочка, ну правда. Ну куда нам уже. В нашем-то возрасте. Там же всё чинить надо, ты сама говоришь, развалина. С кем ты там будешь чинить? Одна? С итальянцами?

— С итальянцами, — повторила Тамара и засмеялась своим хриплым, прокуренным смехом. — Представляю. Вера Андреевна и итальянский сантехник. «Синьор, будьте любезны, объясните мне, в каком падеже у вас протекает кран».

Вера тоже засмеялась. Смешно ведь было. Она представила себя в резиновых перчатках посреди чужой кухни, со словарём под мышкой, объясняющую что-то человеку в комбинезоне, который отвечает ей бурным потоком непонятных слов и размахивает гаечным ключом. Действительно смешно. Старая дура с разговорником.

Вот именно этого она и боялась. Не мафии и не землетрясений. А того, как это будет выглядеть. Как она будет выглядеть.

Люда ушла в семь: у неё внук, Тёма, и завтра надо везти его на день рождения к однокласснику, а подарка ещё нет. Она расцеловала Веру в обе щеки у двери, прошептала: «Не делай глупостей, ладно?» — и ушла, прижимая к груди контейнер с остатками шарлотки.

Тамара осталась. Она всегда оставалась на одну сигарету.

Они вышли на балкон. Было холодно, но не так, как днём: ветер стих, и в неподвижном воздухе висел мелкий сухой снег, первый настоящий в этом году. Он не падал, а скорее стоял в свете фонаря, как пыль в луче проектора. Тамара закурила, прикрывая огонёк ладонью, хотя ветра не было. Внизу по двору прошла женщина с собакой, собака остановилась и понюхала снег.

— Знаешь, — сказала Тамара, глядя не на Веру, а куда-то в темноту двора, — я бы поехала.

Вера повернулась к ней.

— Ты же сама сказала...

— Я много чего говорю. Работа такая. — Тамара выпустила дым, и он смешался со снегом. — Я бы поехала, Вер. Если бы мне кто-нибудь оставил дом у моря с лимонами. Бросила бы всё к чёртовой матери и поехала. Но мне никто не оставит. У меня все родственники в Вологде, и оставляют они исключительно долги и банки с огурцами.

Она докурила молча и затушила сигарету в цветочном горшке, в котором летом росли Сергеевы бархатцы.

— Только Люде не говори, что я это сказала, — добавила она у двери. — Она решит, что у меня климакс.

*

Новый год Вера встретила одна, и это оказалось не так страшно, как она думала. Она сделала себе салат, открыла бутылку шампанского, которую ей подарили на выпускном прошлой весной, выпила бокал под бой курантов и в четверть первого легла спать. Засыпая, она подумала, что Нина, наверное, встречала Новый год на террасе, над морем, в каком-нибудь лёгком платье. Потом вспомнила, что в Лигурии в декабре тоже зима, и представила Нину на террасе в пальто, с бокалом, с сигаретой. Это было почему-то ещё лучше.

Пятого января она поехала в Москву. Дима купил билет на «Сапсан», у окна, как обещал. Чеховские три сестры всю жизнь рвались в Москву. Вера ехала в Москву с тем же чувством, с каким раньше шла на родительское собрание в чужой класс: всё знакомо, все вежливы, и всё-таки ты здесь не своя.

В Москве была оттепель. Ольга встретила её на вокзале, потому что Дима задерживался на работе, и всю дорогу до их квартиры в Хорошёве вела машину молча, изредка поглядывая на свекровь в зеркало. Ольга вообще была молчаливой. Вера долго считала это холодностью, пока не поняла, что Ольга просто из тех людей, которые сначала думают, а потом говорят, и потому говорят редко.

Соня бросилась на Веру в прихожей, не дав ей снять сапоги.

— Бабушка! Бабушка, а Мармеладка на каникулах! Её забрала Инна Сергеевна! А я выросла на два сантиметра! А ты привезла?..

Вера привезла. Книжку про Муми-троллей с картинками, варежки, которые связала в декабре, и коробку конфет «Белочка», которые Соня любила за картинку, а не за вкус.

Вечером, когда Дима ещё не вернулся, а Ольга мыла посуду, Соня залезла к бабушке на диван с её телефоном — она всегда первым делом лезла в бабушкин телефон, чтобы посмотреть, «что у тебя новенького», — и открыла галерею. Последней фотографией в галерее был снимок снимка: Вера сфотографировала Нинину фотографию, чтобы не носить с собой оригинал.

— Ой. — Соня увеличила картинку пальцами. — Бабушка, а это что? Это домик?

— Домик.

— А это что жёлтое? Это лампочки?

— Это лимоны.

Соня подняла на неё глаза. Серо-зелёные, Верины, это все говорили, и сейчас в них было такое потрясение, какое бывает только у шестилетних и у очень хороших читателей.

— Они там растут? Прямо на дереве?

— Прямо на дереве.

— И море?

— И море.

— Бабушка, — сказала Соня страшным шёпотом, как говорят о самом главном, — я хочу к морю, где лимоны.

Из кухни донёлся звук: Ольга поставила тарелку на сушилку чуть громче, чем нужно.

Дима вернулся в девять, усталый, с ноутбуком под мышкой, и после ужина, когда Соню уложили, сел рядом с матерью на диван и развернул к ней экран.

— Смотри. Я нашёл агентство в Генуе. Нормальные ребята, у них сайт на английском, отзывы хорошие. Отправил им фото и адрес. Они говорят, если там правда участок у моря, то покупатель найдётся за пару месяцев. Вот примерная оценка. — Он показал на цифру. Цифра была с таким количеством нулей, что Вера сняла очки и протёрла их, хотя они были чистые. — Это ещё осторожно. Может быть и больше. И вот ещё.

Он открыл другой файл. Это был бланк доверенности — на русском, с пустыми графами, с Вериными паспортными данными, уже аккуратно вписанными.

— Я договорился с нотариусом в Питере, на Большом проспекте, рядом с тобой. На двадцатое число. Ты просто приходишь, подписываешь, и всё. Дальше я сам.

— Ты уже договорился? — спросила Вера.

— Ну да. А что тянуть? Мам, это же для тебя. Чтобы ты не мучилась.

Он смотрел на неё с такой искренней, такой деятельной любовью, что у неё не повернулся язык сказать «нет». Она сказала то, что говорила всегда:

— Хорошо. Я подумаю.

— Да что тут думать, мам.

Ночью Вера не спала. Она лежала на раскладном диване в гостиной, слушала, как за стеной сопит Соня и как где-то внизу, на Хорошёвском шоссе, шуршат машины, и смотрела в потолок, по которому скользили отблески фар. В два часа она встала попить воды. На кухне горел свет. За столом сидела Ольга в Диминой футболке, с чашкой чая, и читала что-то в телефоне.

— Не спится? — спросила Ольга.

— Не спится.

Ольга налила ей чаю, не спрашивая, и подвинула сахарницу. Некоторое время они сидели молча. Потом Ольга, не поднимая глаз от чашки, сказала очень тихо, чтобы не услышали в спальне:

— Вера Андреевна. Вы не обязаны.

Вера посмотрела на неё.

— Он хочет как лучше, — сказала Ольга. — Он правда хочет. Но вы не обязаны. — Она помолчала и добавила ещё тише: — Я бы на вашем месте хотя бы съездила посмотреть. Хотя бы посмотреть.

Больше она ничего не сказала. Допила чай, сполоснула чашку и ушла спать, мягко коснувшись Вериного плеча, проходя мимо.

*

Вернувшись в Петербург, Вера неделю ходила вокруг двадцатого числа, как вокруг лужи, которую всё равно придётся перейти. Записала в блокнот: «20.01, 11:00 — нотариус, Большой пр., паспорт». Подчеркнула. Потом, сама не зная зачем, на следующий день достала с балкона стремянку.

На этот раз она не стала смотреть на антресоль снизу. Просто поставила стремянку, поднялась на четыре ступеньки — колени отозвались, но терпимо, — открыла дверцы и начала снимать всё по очереди. Чертежи в тугих трубках, перетянутых резинками: мост через Свирь, путепровод где-то под Лугой, что-то безымянное, помеченное только цифрами. Коробка с реле. Два котелка, вложенных один в другой, в одном — пакетик с окаменевшей гречкой, которую Сергей, видимо, собирался сварить в походе, так и не случившемся. Вера подержала этот пакетик в руке. Гречке было лет двадцать. Она вдруг рассмеялась, стоя на стремянке, одна, в пыли,

с гречкой в руке, — и тут же чуть не заплакала, но не заплакала, а сунула пакетик обратно в котелок и полезла дальше.

Коробка с открытками стояла в самой глубине, за Диминым детским самокатом. Картонная, из-под зимних сапог, с надписью маркером её собственной рукой: «Мамино. Письма». Вера спустила её, села прямо на пол в коридоре, спиной к стене, и сняла крышку.

Двадцать шесть открыток, перетянутых новой резинкой — она сама перетянула их тогда, в шестнадцатом. Под ними, отдельно, та, двадцать седьмая. С одиноким лимоном на белом фоне.

«Оказывается, есть ещё ты. Это очень меняет пейзаж».

Вера прочитала это вслух, в пустом коридоре, своим низким учительским голосом, и голос прозвучал непривычно — как будто в квартире появился кто-то ещё.

Она просидела на полу долго, пока не затекли ноги. Думала о том, что Нина ждала десять лет. Что одна строчка в ответ, одна открытка с разводным мостом, была для неё событием, меняющим пейзаж. Что Нина потом, наверное, ещё несколько лет проверяла почтовый ящик. И что потом, уже больная, дрожащей рукой, взяла ту самую фиолетовую ручку и написала на обороте фотографии не «продай», не «распорядись», а «приезжай».

Двадцатого января в десять утра Вера надела пальто, взяла паспорт и дошла до нотариальной конторы на Большом проспекте. Контора помещалась в полуподвале, над дверью висела вывеска с золотыми буквами, и в окне было видно, как молодая женщина за стойкой поливает фикус. Вера постояла на тротуаре минут пять. Мимо шли люди, кто-то задел её сумкой и извинился. Потом она развернулась и пошла домой, быстро, по-петербургски, почти побежала, как сбегает с уроков, — ни разу за тридцать два года она не сбежала ни с одного урока, — и уже в парадной, запыхавшись, позвонила Диме и сказала, что сегодня не пойдёт.

— Мам, что случилось? Тебе плохо?

— Нет. Мне хорошо. Я просто хочу сначала посмотреть на дом.

Дима помолчал. Потом сказал очень ровным голосом, каким, должно быть, разговаривал с трудными клиентами:

— Хорошо, мам. Посмотри. Только давай вместе решим, когда. Я возьму отпуск в апреле, поедем...

— Я подумаю, — сказала Вера. Но впервые за много лет эти слова значили не «да», а именно то, что значили.

*

Письмо синьору Тоцци она писала три вечера. Английские слова, которые когда-то знала, выходили из памяти неохотно, как гвозди из старой доски, со скрипом и не целиком. Она сверялась со словарём, с переводчиком в телефоне, потом снова со словарём, потому что переводчику не доверяла: тот упорно превращал «с глубоким уважением» в «with deep respect» и, как казалось Вере, делал её похожей на просителя. В итоге получилось пять строчек. Она благодарит синьора Тоцци за письмо и за заботу. Она намерена принять наследство. Она приедет лично. Весной.

Ответ пришёл через два дня. Синьор Тоцци писал, что искренне рад, что приложит к письму официальное приглашение для визового центра и все необходимые бумаги, что весна в Порто-Сальвии — лучшее время года, если не считать всех остальных, и что он будет иметь честь лично вручить синьоре ключи. В конце, после церемонной подписи с завитком, стоял постскриптум: «Синьора Ферри часто говорила о Вас. Позвольте мне сказать, что она была бы счастлива».

Вера не поняла, что значит «часто говорила». Нина видела её один раз, сорок семь лет назад. Она перечитала постскриптум несколько раз, потом отложила письмо и подумала, что спросит об этом на месте. Если хватит английского.

Дальше было то, что Тамара назвала «хождением по мукам в трёх экземплярах». Анкета на визу. Фотография нужного размера, на которой Вера выглядела как человек, задержанный за кражу батона. Справка из пенсионного фонда. Выписка из банка — Вера сняла её и впервые за четыре года посмотрела, сколько у неё денег. Сергей был человек бережливый и всю жизнь откладывал «на чёрный день», и сумма, которую Вера увидела, оказалась для чёрного дня даже неприлично большой. Страховка. Очередь в визовом центре на Гороховой, где все сидели с одинаковыми прозрачными папками на коленях и молчали, как в поликлинике. Две недели ожидания. Паспорт с наклейкой, на которой её лицо было ещё хуже, чем на фотографии.

В Доме книги на Невском она купила итальянский разговорник — маленький, в мягкой обложке, с Колизеем на картинке, хотя Колизей, насколько она знала, был совсем в другой части страны. А в канцелярском отделе, подумав, взяла ещё тетрадь. Зелёную, в клетку, девяносто шесть листов. Для слов.

Первая страница зелёной тетради выглядела так:

Buongiorno — бонджорно — добрый день. (До какого часа? Уточнить.) Grazie — грацие. Не «грация». Я не балерина. Scusi — скузи — извините. Говорить часто. Скорее всего, пригодится. Non parlo italiano — нон парло итальяно — я не говорю по-итальянски. ВЫУЧИТЬ ПЕРВЫМ. Limone — лимоне — лимон. Значит, «Вилла Лимоне» — это «Лимонная вилла», а не вилла некой синьоры Лимоне. (Проверить.)

Билет она купила сама, в ночь с двенадцатого на тринадцатое февраля.

Она не собиралась. Она просто сидела на кухне в половине первого ночи, не могла уснуть и открыла на ноутбуке сайт авиакомпании — посмотреть, сколько стоит, как летают, через какой город. Прямых рейсов, конечно, не было уже несколько лет, но был Стамбул: вылет из Пулково утром, пересадка, вечером — Генуя. Вера выбрала дату, чтобы посмотреть цену. Второе марта. Потом ввела фамилию, чтобы посмотреть, что будет дальше. Потом, чтобы посмотреть, что будет дальше, ввела номер паспорта.

Билеты за неё всю жизнь покупали другие. Сначала Сергей — он знал, где дешевле, какие места лучше, как не опоздать на пересадку. После Сергея — Дима, у окна. Вера ни разу в жизни не нажимала сама на эту кнопку, и сейчас, глядя на неё — зелёную, с надписью «Оплатить», — ощутила что-то вроде лёгкого головокружения, какое бывает на краю платформы, когда подходит поезд.

Она достала из кошелька карту. Ввела цифры, сверяя каждую дважды. Курсор мигал на кнопке.

Герань на подоконнике темнела тремя неподвижными силуэтами. Квитанция на откосе белела в темноте: «Зимой не трогать!»

Вера нажала.

Телефон пискнул и прислал код. Она ввела код. Экран подумал, покрутил колёсико и выдал ей зелёную галочку и номер бронирования, шесть латинских букв, которые ничего не значили и значили всё.

Вера сидела перед этой галочкой и не двигалась. Потом вдруг рассмеялась — громко, в голос, одна на кухне, в час ночи, так что сама вздрогнула от этого звука. Смех был какой-то неприличный, девчоночий, и она зажала рот ладонью, как будто её могли услышать соседи, или Сергей, или мама, которая уже одиннадцать лет лежала на Северном и всё равно продолжала за ней присматривать.

Дима узнал на следующий день. Вера сказала ему по телефону утром, в девять пятнадцать, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, — и голос звучал спокойно, только она почему-то стояла, а не сидела.

Дима долго молчал.

— Ты могла бы со мной посоветоваться, — сказал он наконец. Не сердито. Обиженно, как в детстве, когда его не взяли на рыбалку.

- Могла бы, — согласилась Вера. — Но ты бы посоветовал не ехать.
— Конечно, посоветовал бы! Мам, одна, через Стамбул, в феврале...
— В марте.
— Какая разница!
— Большая, — сказала Вера. — Нина писала «весной».

*

Улетала она второго марта, во вторник, затемно.

Накануне пришла Тамара — забрать ключи и получить инструкции по герани. Вера написала ей инструкции на отдельном листке, аккуратно, по пунктам, и Тамара прочитала их с тем выражением лица, с каким читала рефераты о роли Распутина в Бородинском сражении.

— «Поливать раз в неделю, отстоянной водой, не заливать», — прочитала она вслух. — Верка, я две революции пережила, а ты мне про отстоянную воду.

— Это не моя герань, — сказала Вера. — Это Сергея.

Тамара посмотрела на неё поверх листка, потом сложила его вчетверо и сунула в карман.

— Буду поливать, — сказала она. — Иди уже собирайся, итальянка.

Чемодан Вера собрала с вечера и дважды перепаковала. Три кардигана — серый, бежевый и ещё один серый, потемнее. Две юбки. Тёплые колготки. Разговорник, зелёная тетрадь, словарь с отклеившимся корешком, который весил больше, чем все кардиганы вместе. Папка с документами. Фотография дома — в конверте, между страницами словаря, чтобы не помялась. Лекарства от давления в отдельном пакетики, с запасом, как велел Дима.

Уже застегнув молнию, она постояла над чемоданом, потом снова растегнула её, пошла к комоду и достала из нижнего ящика синюю жестяную коробку. Высыпала пуговицы в блюдце. Подумала. Положила обратно одну — детскую, с божьей коровкой. Закрыла крышку и сунула коробку в чемодан, между кардиганами, в самую середину, где было мягче всего.

В Пулкове было темно и пусто, и пахло кофе из автомата и мокрыми куртками. В Стамбуле было светло и тесно, и аэропорт оказался таким огромным, что Вера полчаса шла от одного выхода к другому по бесконечным движущимся дорожкам, мимо витрин с часами, рахат-лукумом и духами, мимо людей, говорящих на всех языках сразу, и крепко держала посадочный талон в руке, как держат ребёнка за руку в толпе. Она ни разу не заблудилась. Она сама нашла свой выход, сама спросила по-английски, та ли это очередь, — и девушка в хиджабе за стойкой ответила ей «yes, madam» так вежливо, что Вера чуть не поблагодарила её по-итальянски.

Во втором самолёте ей досталось место у окна. Сама выбрала.

Большую часть полёта под крылом лежали облака, плотные и белые, как снег за городом. Вера смотрела на них, потом задремала, потом проснулась от того, что изменился звук двигателей и самолёт начал снижаться. Облака разошлись.

Внизу были горы. Не такие, как на картинках про Альпы, — не снежные и не острокопечные, а тёмные, мохнатые, покрытые лесом, складка за складкой, и эти складки не заканчивались равниной, как положено нормальным горам, а обрывались прямо в воду. Вода была цвета, которому Вера не знала названия. Не синего и не зелёного, а чего-то среднего, густого, с серебром там, где на неё падало низкое вечернее солнце. По склонам, как рассыпанные кубики, лепились дома — розовые, жёлтые, терракотовые, — а между ними вились дороги, узкие, как нитки.

Самолёт шёл всё ниже, над самой водой, так низко, что Вере стало страшно. Она видела гребешки волн, лодку, чайку. Она вцепилась в подлокотник и подумала, что, кажется, они сейчас сядут прямо в море, и что Люда была права, и что...

Колёса ударились о бетон. Взлётная полоса, как оказалось, лежала на самой кромке берега, вытянутая вдоль воды, и море было справа, и слева, и впереди.

Когда открыли дверь и Вера вышла на трап, её встретил ветер. Не петербургский — не сбоку, не в воротник, не колючий. Мягкий, влажный, почти тёплый, он пах солью, водорослями, нагретым за день камнем и ещё чем-то зелёным, смолистым, что спускалось с гор. Пахло морем. Настоящим, не заливом.

Вера остановилась на верхней ступеньке, и кто-то сзади нетерпеливо кашлянул. Она не обернулась. Она стояла, держась за холодный поручень, и дышала, и ей было пятьдесят восемь лет, и она не помнила, когда в последний раз так дышала — во всю грудь, так, что заболели рёбра.

Глава 3. Дом

В зале прилёта генуэзского аэропорта было светло и почти пусто, и первое, что увидела Вера, выйдя из стеклянных дверей, был кусок картона с надписью фломастером: SOKOLOVA VERA. Буквы шли с наклоном вниз, словно каждая следующая устала сильнее предыдущей, а над «О» в фамилии кто-то старательно поставил ударение, причём не там.

Картон держал невысокий плотный человек лет семидесяти, с седыми усами щёткой и в кожаной куртке, которая была ему велика в плечах. Увидев, что Вера остановилась перед ним, он просиял так, будто встречал родную сестру после долгой разлуки, выхватил у неё чемодан и заговорил.

Говорил он по-итальянски, быстро, с жестами, и из всего потока Вера уловила только «синьора», «Тоцци», «Энцо» — это, по-видимому, было его имя, потому что при этом слове он ткнул себя пальцем в грудь, — и ещё что-то похожее на «бенвенута». Она собралась с духом и произнесла фразу, которую две недели повторяла перед зеркалом:

— Нон парло итальяно.

Энцо пришёл в восторг. Он закивал, заулыбался, сказал «бравва, бравва!» — и заговорил ещё быстрее, видимо, решив, что человек, так хорошо выговаривающий «нон парло итальяно», наверняка понимает всё остальное.

Машина у него была маленькая, серебристая, с вмятиной на заднем крыле и чётками на зеркале. Чемодан Энцо уложил в багажник с таким усилием, будто грузил в трюм якорь, покачал головой и сказал что-то, в чём Вера безошибочно узнала интонацию «что вы туда положили, кирпичи?». Она подумала о словаре тысяча девятьсот восемьдесят шестого года и не стала оправдываться.

Они ехали вдоль моря, но моря не было видно. Была темнота слева — плотная, живая, дышащая, — и огни справа, взбегавшие по склонам. Дорога то ныряла в тоннели, освещённые оранжевым, гулкие, как трубы органа, то вылетала из них на короткие мосты, под которыми на секунду открывалось что-то чёрное и блестящее, с дрожащей дорожкой от фонаря. Потом снова тоннель. Энцо вёл одной рукой, другой показывал в темноту и объяснял. Названия городков вспыхивали на синих табличках и гасли. Вера кивала. Иногда он оборачивался к ней, чтобы убедиться, что она кивает, и тогда машина плавно уходила к осевой, и Вера кивала энергичнее, лишь бы он снова смотрел на дорогу.

Через час дорога свернула с трассы и начала спускаться серпантином. На одном повороте фары выхватили из темноты куст, весь осыпанный мелкими жёлтыми цветами, пушистыми, как цыплята.

— Мимоза, — сказал Энцо, ткнув в куст пальцем, и это слово Вера поняла.

Мимоза. В Петербурге её продавали к Восьмому марта у метро, в целлофане, подмороженную, и она пахла скорее холодом, чем собой. Здесь она росла у дороги, как у них растёт иван-чай, и никто её не рвал. Вера вспомнила Нинину открытку: «У нас тепло, цветёт мимоза».

*

Порто-Сальвия спала. Или делала вид. Машина въехала на маленькую площадь, мощённую камнем, и остановилась, и мотор затих, и сразу стало слышно море — где-то внизу, совсем близко, оно дышало медленно и тяжело, как большое животное во сне.

Площадь была почти квадратная. С одной стороны её замыкала церковь — светлый фасад в полосах, серых и белых, как тельняшка, с круглым окном над дверью и колокольной, на которой горели маленькие часы. Напротив стояли дома, высокие и узкие, прижатые друг к другу плечами, в четыре-пять этажей, со ставнями. Цвет в темноте не разобрать, только угадывалось, что они разные. Под одним из домов было кафе: столики сложены и пристёгнуты цепью

к фонарному столбу, на опущенной железной шторе нарисовано от руки, с завитушками: *Da Lucia*. Рядом, в соседнем доме, на втором этаже, горело одно окно.

— Тоцци, — сказал Энцо и показал на окно.

Нотариус ждал её. Вера поняла это ещё на лестнице — узкой, каменной, с продавленными посередине ступенями, — потому что дверь наверху была открыта, и в щель падал жёлтый свет, и пахло оттуда сигарой и чем-то сухим, травяным, похожим на мешочек, который мама клала в шкаф от моли.

Синьору Эмилио Тоцци было лет восемьдесят. Он поднялся ей навстречу из-за огромного стола тёмного дерева — поднялся медленно, в несколько приёмов, опираясь на трость с серебряным набалдашником, — и когда наконец выпрямился, оказался почти одного с ней роста, сухой, узкий, в тёмном костюме с жилетом и с галстуком-бабочкой цвета бургундского вина. Лицо у него было длинное, морщинистое, с белыми бровями, которые жили отдельной жизнью: одна поднималась, когда он говорил, другая оставалась на месте.

— Синьора Соколова, — сказал он по-английски и чуть наклонил голову. — Наконец-то. Добро пожаловать в Порто-Сальвию. Прошу простить, что не встретил вас лично. Мои колени, увы, давно отказались путешествовать дальше этой площади.

Английский у него был такой, какого Вера не слышала никогда вживую, только в старых фильмах: медленный, отчётливый, с аккуратными паузами между словами, как будто каждое слово он вынимал из футляра, протирал и только потом показывал собеседнику. Она поняла почти всё. Это было так неожиданно и приятно, что она чуть не расплакалась прямо в дверях.

— Спасибо, — сказала она. — Спасибо, что дождались. Уже поздно.

— В моём возрасте, синьора, поздно бывает только в одном смысле, и до него, надеюсь, ещё есть время.

Он усадил её в кресло с высокой спинкой, налил из графина воды в тяжёлый стакан, и они немного поговорили — о дороге, о Стамбуле, о погоде в Петербурге, про которую синьор Тоцци слушал с вежливым ужасом, как слушают рассказы о полярных экспедициях. Бумаги, сказал он, подождут до завтра. Или до послезавтра. Синьора устала, а бумаги никогда не устают, это их главное преимущество перед людьми.

Потом он открыл ящик стола и достал связку ключей.

Ключей было пять. Один большой, железный, тёмный, длиной почти в Верину ладонь, с узорной головкой, — таким, подумала она, открывают не двери, а сундуки с сокровищами. Остальные поменьше, обычные, латунные. Все они висели на кольце вместе с брелоком: маленьким деревянным лимоном, гладким, отполированным до блеска пальцами.

Синьор Тоцци не протянул ей связку, а положил на стол перед ней и накрыл сверху ладонью.

— Синьора Ферри попросила меня вручить их вам лично, — сказал он. — Из рук в руки. Она была... — он помолчал, подбирая слово, и бровь его поднялась, — она была женщина, которая придавала значение жестам. Я обещал.

Он убрал ладонь.

Вера взяла ключи. Деревянный лимон был тёплый — наверное, от его руки.

— Ещё одно. — Синьор Тоцци протянул ей электрический фонарик, большой, резиновый, какие бывают у сторожей. — Электричество на «Вилле Лимоне», как бы сказать... обладает темпераментом. В кухне и в кабинете оно, как правило, есть. В остальных комнатах — по настроению. Завтра я пришлю человека.

— Спасибо. — Вера помолчала, вертя в пальцах деревянный лимон, и спросила то, о чём думала с самого января: — Синьор Тоцци, вы написали, что Нина... что синьора Ферри часто обо мне говорила. Я не понимаю. Мы виделись один раз. Мне было одиннадцать.

Синьор Тоцци посмотрел на неё долгим взглядом из-под белых бровей. Потом улыбнулся — медленно, одними уголками рта, как делал всё.

— Завтра, синьора, — сказал он. — Или в другой день. Не всё сразу. Порто-Сальвия — место, где никто не рассказывает всё сразу. Вы привыкнете.

*

До дома оказалось сто двенадцать ступенек. Вера не считала — считал Энцо, вслух, по-итальянски, с растущим трагизмом, неся её чемодан перед собой на согнутых руках. Где-то на шестидесятой он перестал считать и начал, судя по интонации, молиться.

Лестница шла от площади вверх, между домами, узкая — двоим не разойтись, — то прямо, то поворачивая под острым углом, то превращаясь в короткую площадку с чьей-то дверью и горшком герани на пороге. Вера мельком посмотрела на эту герань и почувствовала что-то вроде укола: и здесь. Фонари висели на стенах через каждые двадцать ступенек, жёлтые, и между ними лежали куски темноты, в которых Вера шла, светя себе сторожевым фонарём синьора Тоцци под ноги. Пахло камнем, остывшим после дня, кошками, чьим-то ужином — чесноком и жареной рыбой — и чем-то ещё, что она не могла назвать. Горьковатым, зелёным.

Потом дома кончились. Лестница вывела на тропинку вдоль склона, огороженную с одной стороны каменной стенкой по пояс, и внизу, справа, в темноте, снова задышало море, теперь уже далеко внизу. Тропинка упёрлась в калитку.

Калитка была железная, кованая, покрытая рыжей ржавчиной, как лишайником. Над ней в каменной стене висела керамическая табличка, и фонарь выхватил из темноты синие буквы на белом: *Villa Limone*. Слева от надписи был нарисован лимон с двумя листиками. Одного листика не хватало — керамика откололась.

Энцо поставил чемодан, выпрямился, взялся за поясницу и сказал длинную фразу, в которой Вера разобрала слово «мадонна» по меньшей мере дважды. Потом, отдышавшись, открыл калитку — она завизжала на такой ноте, что где-то неподалёку залаяла собака, — отнёс чемодан по дорожке до двери, поставил на порог, отказался от денег с таким возмущением, будто Вера предложила ему взятку, пожал ей руку обеими руками, сказал «кораджо, синьора» и ушёл вниз, в темноту, насвистывая.

Вера осталась одна.

Сад был вокруг неё, но она его не видела. Она его слышала и чувствовала. Под ногами — мокрая трава, заросшая дорожка из плоских камней, между которыми что-то мягко пружинило. Со всех сторон — шорох листы, хотя ветра почти не было, и тяжёлые влажные запахи: сырая земля, прелые листья, что-то пряное, смолистое, и поверх всего — тот самый горьковатый зелёный запах, который она учуяла на лестнице. Она протянула руку в темноту, и пальцы наткнулись на лист — гладкий, плотный, холодный, будто вырезанный из кожи. Она сорвала его, растёрла в пальцах и поднесла к лицу.

Пахло лимоном. Не лимоном из магазина. Цедрой, горечью, свежестью, чем-то почти цветочным — так, как пахнет лимон, если его разрезать сразу после того, как сорвёшь.

Большой ключ подошёл к двери со второй попытки. Замок провернулся туго, со скрежежом, как проворачивается что-то, что давно не трогали, и дверь открылась внутрь.

Из дома пахнуло холодом.

Не уличным — улица была почти тёплая, мартовская, влажная. Холодом домашним, каменным, застоявшимся, каким пахнут погреба и церкви. К нему примешивались пыль, бумага, воск, старое дерево и что-то сладковатое, похожее на засохшие цветы. Вера нащарила на стене выключатель — старинный, круглый, поворотный — и повернула. Ничего. Повернула обратно. Ничего. Подумав, повернула ещё раз, и под потолком, щёлкнув, будто нехотя, зажглась лампочка в стеклянном колпаке.

Она стояла в прихожей. Каменный пол из больших квадратных плит, красноватых, истёртых. Вешалка с медными крюками, на одном — соломенная шляпа с широкими полями и выцветшей лентой. Зеркало в деревянной раме, мутное по краям, словно затянутое инеем.

Высокая ваза в углу, пустая. Коврик у двери, свернувшийся по краям. И тишина — такая плотная, что было слышно, как гудит лампочка.

Вера сняла туфли. Потом подумала о каменном полу и надела обратно.

Она обошла дом, освещая его фонарём, потому что лампочки зажигались не везде, — синьор Тоцци не преувеличил насчёт темперамента. Кухня была большая, с низким сводчатым потолком, с огромной плитой на газу, чугунной, и рядом со старой плитой — маленькая электрическая, поновее, с двумя конфорками. Длинный деревянный стол, изрезанный ножами. На полках — медные кастрюли, потемневшие, как старые монеты. В буфете — тарелки с синим узором, разные, от разных сервизов. И на подоконнике, в ряд, пять банок с чем-то жёлтым, густым, закатанных под крышку. На каждой — бумажная наклейка, и на каждой фиолетовыми чернилами, тем самым наклонным почерком: *Limoni. 2025*.

Вера взяла одну банку и долго держала её в ладонях. Прошлой зимой Нина ещё варила варенье. Стояла здесь, у этой плиты, резала лимоны на этом столе, писала наклейки этой рукой, которая уже дрожала. Прошлой зимой Вера проверяла сочинения.

Она поставила банку на место и пошла дальше.

Гостиная — с камином, в котором лежала аккуратная горка старой золы, с диваном под пыльным чехлом, с креслом у окна и торшером без абажура. Абажур лежал рядом на полу, словно его сняли, чтобы поменять, и не успели. Ставни были закрыты.

Кабинет. Здесь электричество было, и Вера поняла почему: здесь Нина жила по-настоящему. Книги от пола до потолка на всех четырёх стенах, даже над дверью. Русские корешки вперемешку с итальянскими: Ахматова, Цветаева, Мандельштам, Пастернак в тёмно-синем переплёте, «Библиотека поэта», и рядом — тонкие итальянские книжечки с белыми обложками, на которых было написано *Traduzione di Nina Ferri*. Вера вытащила одну наугад. Цветаева. «Poesie». Перевод Нины Ферри. Стол у окна, и на столе пишущая машинка — старая, тяжёлая, чёрная, с круглыми клавишами, — а рядом ноутбук, закрытый, в пыли. Стопка бумаги. Стакан с карандашами. Очки в тонкой металлической оправе, сложенные дужками вниз, как будто их только что сняли и положили на минуту.

На спинке кресла висела шаль. Серо-лиловая, шерстяная, мягкая, с кистями. Вера не удержалась, взяла её в руки, поднесла к лицу — и замерла.

Ирис. Еле уловимо, в самой глубине шерсти, под пылью и запахом старого дома. Прохладный, пудровый, с той горькой ноткой на дне. Тот самый, который она искала в Гостином дворе и не нашла. Сорок семь лет, и вот он — в чужом кабинете, в шерстяной шали, в чужой стране.

Вера положила шаль обратно на кресло. Аккуратно, как она лежала. Она не могла её надеть. Не сегодня.

Наверх вела деревянная лестница, крутая и скрипучая, с перилами, отполированными до атласного блеска. На втором этаже были две спальни и ванная. В ванной из крана сначала долго ничего не шло, потом кран закашлял, забулькал, плюнул в раковину рыжей водой, отдышался и пустил тонкую ледяную струйку. Горячей воды не было. Колонка на стене — белая, пожелтевшая, с окошечком для огня — стояла мёртвая, и Вера не решилась её трогать.

В одной спальне мебель была закрыта чехлами. А в другой — Вера остановилась на пороге — кровать была застелена. Свежим бельём. Белым, накрахмаленным, пахнущим мылом и солнцем. Поверх одеяла лежал ещё один плед, шерстяной, в клетку, аккуратно сложенный. На тумбочке стоял стакан, а рядом — бутылка воды, запечатанная. И маленькая веточка в стакане: три листа, две белые звёздочки цветов и один крошечный зелёный лимон, размером с орех.

Кто-то знал, что она приезжает. Кто-то поднялся по ста двенадцати ступенькам и застелил ей постель.

Вера села на край кровати, прямо в пальто.

Телефон показывал одиннадцать процентов заряда и одно деление сети. В Петербурге было на два часа больше, почти полночь. Вера нашла в сумке зарядку, потом полчаса искала розетку, которая работала бы, и нашла её в кабинете, за креслом с шалью. Розетка была странная, круглая, с тремя дырочками в ряд, и вилка в неё не лезла. Переходник Дима вручил ей ещё в Москве, в январе, — «мам, там другие розетки, не забудь», — и она сама сунула его в чемодан и, конечно, забыла об этом, и перевернула весь чемодан, прежде чем нашла его в кармашке, завернутым в бумажку с надписью Диминым почерком: «ПЕРЕХОДНИК. ДЛЯ ИТАЛИИ».

Она подержала эту бумажку в руке и написала сыну: «Долетела. Всё хорошо. Нотариус очень милый. Дом красивый. Целую».

Из всего этого правдой были «долетела», «нотариус» и «целую». Про дом она ещё не знала.

Дима не ответил — наверное, спал. Зато ответила Тамара, которая никогда не ложилась раньше двух:

«Ну как? Мафия встретила?»

«Пока только нотариус. Восемьдесят лет, бабочка, трость с серебром».

«Это и есть мафия. Они маскируются. Дом стоит?»

Вера посмотрела на пятно на потолке спальни — тёмное, с рыжей каймой, по форме похожее на Африку.

«Стоит. Не весь».

«Держись, итальянка. Герань жива».

Вера отложила телефон на тумбочку, экраном вниз, рядом с веточкой лимона, и поняла, что ей не с кем больше разговаривать до утра.

*

Позже, лёжа в этой постели — в пальто, в двух кардиганах, в шерстяных носках и под двумя одеялами, — она пыталась понять, с чего всё началось. С какой именно мысли.

Может быть, с того, что было холодно. По-настоящему холодно, не по-петербургски, где на улице минус, а дома батареи, — а наоборот: на улице почти весна, а дома склеп. Холод шёл от каменного пола, от стен, от окна, в щели ставни посвистывало, и Вера никак не могла согреть ноги.

Может быть, с того, что было очень тихо. Такой тишины у неё не было никогда. На Васильевском всегда что-нибудь звучало: трамвай, соседи, лифт, вода в трубах, машины во дворе. Здесь было только море — далеко внизу, мерно, — и ещё иногда что-то шуршало в саду, и один раз где-то хлопнула ставня.

Может быть, с того, что она вспомнила очки на Нинином столе, сложенные дужками вниз.

Или с того, что вспомнила Сергея. Как он укрывал её, если она засыпала на диване перед телевизором. Всегда. Тридцать лет. Никогда её не будил, просто приносил плед и укрывал, подтыкая с ног. Некому было теперь подтыкать ей плед с ног. Ни здесь, ни дома.

Она заплакала. Сначала тихо, по-взрослому, как плачут в подушку, чтобы не услышали в соседней комнате, — хотя в соседней комнате были только мебель под чехлами и темнота. Потом, когда поняла, что никто не услышит, — громче. Она плакала о Нине, которая умерла в марте и которой она так и не написала. О Сергее и его окаменевшей гречке. О маме, двадцать шесть лет складывавшей нераспечатанные открытки в нижний ящик. О том, что ей пятьдесят восемь и она лежит в пальто в чужой постели в чужой стране, без горячей воды, и не знает ни слова на языке, на котором здесь даже собаки лают. О том, что Люда была права. И Тамара. И Дима. Что это глупость, старческая, смешная глупость, и что завтра она позвонит сыну и скажет, что он был прав, и он приедет, и всё организует, и она вернётся на Васильевский, к герани, к половице, к стулу, отодвинутому на двадцать сантиметров, и будет прилично доживать.

Слёзы кончились так же внезапно, как начались. Вера лежала, мокрая, опухшая, и шмыгала носом, и нос был ледяной.

Потом она зачем-то протянула руку, нащупала на тумбочке разговорник — она положила его туда вместе с очками, по привычке, как кладут книгу перед сном, — включила фонарь и, шурясь, нашла раздел «Экстренные ситуации». Первым словом там значилось:

Aiuto! — Аюто! — Помогите!

— Аюто, — сказала Вера в темноту. Шёпотом.

Дом не ответил. Где-то в саду снова что-то зашуршало.

— Аюто, — повторила она громче, своим учительским голосом, каким вызывала к доске.

И тут она представила себя со стороны: пятидесятивосьмилетняя учительница литературы из Петербурга, в пальто и шерстяных носках, в кровати, с сопливым носом, с разговорником, светит себе фонарём, как в пионерском лагере под одеялом, и зовёт на помощь по-итальянски пустой дом. Которому на неё, в общем, совершенно наплевать. Который за свою жизнь видел, наверное, и не такое.

Вера засмеялась. Сначала фыркнула, потом не выдержала, и смех вырвался из неё — громкий, неприличный, с икотой, так что она уронила разговорник и фонарь покатился по одеялу, пуская по потолку сумасшедших световых зайцев. Она смеялась и не могла остановиться, и ей было холодно, и слёзы опять текли, но уже другие. И где-то в середине этого смеха она подумала, что Нина, наверное, тоже смеялась в этом доме. Что эти стены слышали её хриплый смех. Что это, может быть, не такой уж чужой дом.

Она уснула, так и не выключив фонарь.

*

Проснулась она без двадцати семь. Тело не знало, что оно в Италии, и честно разбудило её к первому уроку.

Но свет был другой. Вера поняла это, ещё не открыв глаз: сквозь веки проникало что-то розовато-золотое, и в этом было что-то неправильное, почти тревожное, как если бы ноябрьская петербургская хмарь вдруг решила поменять цвет. Она открыла глаза. Сквозь щели в ставнях в комнату входили тонкие полосы света — не серого, не цвета остывшего чая, а медового, тёплого, — и в каждой полосе медленно кружилась пыль.

Фонарь погас сам, батарейки сели.

Вера встала. Ноги в шерстяных носках ступили на холодный камень. Она подошла к окну, нашла на ощупь крючок, откинула его и толкнула ставни.

Они открылись наружу со скрипом, одна за другой. И в комнату вошло море.

Вера потом так и не смогла себе объяснить, почему не заметила его сразу, вчера, — ведь оно было здесь всё время, дышало всю ночь. Но вчера оно было звуком. А сейчас оно было всем. Прямо под окном, за балюстрадой террасы, за верхушками тёмных деревьев в саду, за крышами посёлка, спускавшимися вниз уступами, — розовыми, рыжими, охристыми, с черепицей, похожей на чешую, — оно начиналось и не кончалось. Оно было не синее. Оно было светлое, жемчужное, с перламутровым отливом, потому что солнце вставало где-то слева, из-за горы, и ещё не поднялось над ней, и небо над горой было розовым, а море отражало это розовое и переводило его на свой язык. У самого берега, где-то внизу, вода становилась зелёной и прозрачной, и по ней шла одна-единственная лодка, белая, маленькая, и за ней тянулся расходящийся след, как за пальцем на мокром стекле.

И тишина снова была — но уже не та, ночная. Где-то внизу ударил колокол. Один раз, потом ещё раз, и звук поплыл над крышами, над водой, не торопясь. Закричала чайка. С площади донёсся стук — наверное, поднимали железную штору кафе. Кто-то позвал кого-то по имени, протяжно, нарастающе.

Вера стояла у окна в пальто и шерстяных носках, держась обеими руками за подоконник, и смотрела. Холодный воздух трогал её лицо, опухшее после вчерашних слёз, и пах солью.

Потом она спустилась вниз. Нашла, как открываются ставни в кухне и в гостиной, и запахнула их все, одну за другой, так что дом наполнился светом, как чашка чаем, и стало видно, сколько в нём пыли, и паутины в углах, и трещин в штукатурке, и тёмных пятен на потолке в гостиной, там, где, видимо, протекала крыша. Всё это было видно, и всё это было неважно.

Из гостиной стеклянная дверь вела на террасу. Вера открыла её и вышла.

Терраса была каменная, широкая, с балюстрадой из пузатых столбиков, половина из которых потрескалась, а два не хватало совсем. Её оплела лоза, ещё голая, серая, узловатая, как старческие руки, и только кое-где на ней проклюнулись крошечные листочки. Вдоль балюстрады стояли глиняные горшки с чем-то засохшим. И в углу — стол, железный, круглый, крашенный когда-то в зелёный, и два стула к нему.

Два.

А внизу, под террасой, лежал сад.

Он спускался по склону уступами, ступенями, подпёртыми каменными стенками, и был весь заросший, запущенный, дикий. Сухая трава по колено. Какие-то кусты, раскинувшиеся во все стороны. Плющ, взбирающийся по стенкам. Но из этого беспорядка, из этой неряшливой, спутанной зелени поднимались деревья — невысокие, с тёмной глянцевой листвой, которая на солнце отливала металлом, — и на них, на всех, висели лимоны. Жёлтые, бледно-жёлтые, почти зелёные, крупные и мелкие, по одному и гроздьями, и тут же, на тех же ветках, — белые цветы, как вчера у кровати, и крошечные зелёные завязи. Деревья цвели и плодоносили одновременно, как будто не знали, что так не бывает.

В самом низу сада, у последней стенки, над обрывом, стоял лимон больше и старше остальных, с толстым искривлённым стволом, и под ним, в его тени, — каменная скамья. Длинная, серая, покрытая пятнами лишайника. На ней никто не сидел, но казалось, что недавно сидели.

Вера спустилась в сад. Трава намочила ей колготки до колен. Она подошла к ближайшему дереву, протянула руку и сорвала лимон. Он оторвался легко, с тихим щелчком, и в воздухе сразу, мгновенно, разлился тот самый запах — горький, яркий, свежий. Лимон был тёплый с одного бока, с того, куда уже доставало солнце, и прохладный с другого. Кожица — пористая, толстая, чуть маслянистая на ощупь.

Она принесла его в кухню. Разобралась с маленькой электрической плитой — та заработала с первого раза, будто решила сделать гостю одолжение. Нашла чайник, медный, помятый. Вскипятила воду. Нашла чай — жестяная банка на полке, английский, с королевой на крышке, и в нём было ещё на четверть. Нашла чашку — синюю, с отбитой ручкой, не нашла целую и решила, что эта подходит. Разрезала лимон на изрезанной доске Нининым ножом, и сок брызнул ей на запястье, и запах стал таким сильным, что заслезились глаза. Бросила кружок в чашку.

Она пила этот чай, стоя на террасе, в пальто, у балюстрады, и смотрела, как солнце поднимается над горой, и море меняет цвет с перламутрового на серебряный, а с серебряного на синий, и лодка внизу давно ушла, а за ней пришла другая. Чай был горячий, крепкий и кислый до невозможности. Лучший чай в её жизни.

Она подумала, что надо бы позвонить Диме. Сказать, что долетела. Написать Тамаре. Разобрать чемодан. Найти, где здесь магазин. Понять, как включается колонка. Составить список.

Внизу, у маленького порта, где у бетонного мола теснились лодки, стоял длинный сарай с покатою черепичной крышей, прилепившийся одним боком к самой воде. Широкие деревянные ворота были распахнуты, и из тёмного нутра на воду вёл пологий спуск, как язык. Перед воротами стоял человек. Высокий, в чём-то тёмном, с руками в карманах. Он не двигался и смотрел на море, будто что-то в нём прочитывал, как читают утреннюю газету. У его ног лежало что-то лохматое, серое, похожее на брошенный половик, и вдруг половик встал, отряхнулся и

оказался собакой. Человек нагнулся, потрепал собаку по голове, не отрывая взгляда от воды, потом повернулся и ушёл в темноту сарая. Собака осталась сидеть на пороге.

Вера почему-то проводила его глазами до самых ворот.

А вместо всего этого она допила чай до дна, выудила кружок лимона пальцами и съела его вместе с кожурой, морщась, как в детстве.

Потом пошла в прихожую за блокнотом.

На каменном полу, у самой двери, лежал листок бумаги. Сложенный вдвое. Белый. Его, должно быть, подсунули под дверь, пока она стояла на террасе или раньше, пока спала. Вечером его здесь не было — она бы заметила.

Вера подняла его и развернула.

Бумага была плотная, в тонкую голубую линейку, вырванная из какого-то блокнота или журнала. Текст — по-английски, крупными печатными буквами, твёрдой рукой, с сильным нажимом, так что с обратной стороны листа буквы проступали выпуклыми бороздками, как шрамы. Никакого приветствия. Никакой подписи, кроме инициала и фамилии. Три строчки и номер телефона внизу.

SELL ME THE HOUSE.NAME YOUR PRICE.M. ROSSI.

«Продайте мне дом. Назовите цену. М. Росси».

Глава 4. Незнакомец

Записку Вера прочитала ещё трижды. Один раз — стоя в прихожей, второй — на кухне, надев очки, как будто очки могли что-то добавить к трём строчкам печатных букв, и третий — вслух, по-английски, с той интонацией, с какой зачитывала в классе особенно выдающиеся образцы сочинений на тему «Как я провёл лето».

— «Продайте мне дом. Назовите цену», — сказала она пустой кухне. — Ни «здравствуйте», ни «добро пожаловать», ни «примите соболезнования». Синьор М. Росси, вам двойка. За содержание — три, за грамотность — пять, за воспитание — два.

Кухня промолчала. Банки с лимонным вареньем на подоконнике светились на солнце, как пять маленьких ламп.

Она положила записку на стол, прижала её сверху медной туркой, чтобы не улетела, и решила, что звонить по этому номеру не будет. Во всяком случае, не сегодня. Во всяком случае, не первой. Если синьору Росси так нужен дом, пусть синьор Росси потрудится написать нормальное письмо, с обращением и подписью. Мысль была мелкая, учительская, и Вера это понимала, но мысль была приятная, и Вера позволила себе её додумать до конца.

Потом она вымыла синюю чашку с отбитой ручкой, поставила её в сушилку ручкой вправо — то есть тем местом, где раньше была ручка, — переделась в серый кардиган и пошла вниз, в посёлок. Дома не было ничего, кроме лимонов, варенья и четверти банки чая.

*

При свете дня лестница оказалась совсем другой. Ночью она была узким тёмным коридором между стенами, а теперь стены отступили, и выяснилось, что они разноцветные. Дом цвета абрикоса. Дом цвета сливочного масла. Дом цвета выгоревшего бордо, с белыми нарисованными — нарисованными! — наличниками вокруг окон, так искусно, что Вера остановилась и потрогала один пальцем, чтобы убедиться, что он плоский. На одном доме нарисованы были даже ставни, и одна нарисованная ставня нарисованно приоткрыта, а из-за неё нарисованно выглядывала нарисованная женщина в чепце. Вера постояла перед ней, как перед картиной в Эрмитаже. Женщина смотрела на неё с лёгким презрением, как смотрят те, кто давно здесь живёт.

Герань на ступеньках, которую она видела ночью, была красная, в горшке из-под оливкового масла. Рядом с ней на ступеньке сидела кошка — полосатая, одноухая, с таким видом, будто это она выставила горшок.

На площади было солнце. Оно лежало на камнях мостовой, на ступенях церкви, на пластиковых стульях кафе, которые уже выставили наружу, — на всём, щедро, как масло на горячем хлебе. Под столиками дремала собака. Два старика в кепках сидели на скамейке у церкви и молча смотрели на море, как смотрят телевизор. Женщина в халате вытряхивала с балкона скатерть, и крошки летели вниз, и на них тут жеслетались голуби.

Кафе *Da Lucia* было открыто. Железная штора поднята, дверь распахнута, из неё доносились звяканье чашек, шипение кофейной машины и голоса — много голосов, мужских, громких, перебивающих друг друга. У стойки, судя по всему, стояли человек шесть, в рабочих куртках, в резиновых сапогах, и все говорили одновременно. Над ними, над всем этим гулом, взлетал и падал женский голос — высокий, раскатистый, с такими интонациями, будто хозяйка голоса одновременно ругала всех, смешила всех и рассказывала им что-то невероятно важное.

Вера постояла у входа. Ей хотелось кофе. Ей очень хотелось кофе, настоящего, итальянского, из этой шипящей машины. Но там были все эти мужчины в сапогах, и этот голос, и она не знала, как здесь заказывают, куда встают, что говорят, платят ли сначала или потом, — и она представила, как войдёт, и все замолчат, и обернутся, и будут смотреть, как она листает разговорник. Как старый Энцо, только шестеро.

Она прошла мимо.

Магазин нашёлся за углом, в переулке, спускавшемся к порту. Маленький, тесный, без вывески — только над дверью висела связка чеснока и пучок каких-то сухих трав. Внутри пахло сыром, колбасой, хлебом и кофе, и всё это было так плотно набито на полках, что казалось, стоит вынуть одну банку, как рухнет вся стена. За прилавком стояла женщина лет шестидесяти, маленькая, чёрная, похожая на ворону, с очками на лбу и карандашом за ухом.

— Бонджорно, — сказала Вера.

— Бонджорно, — сказала ворона и посмотрела на неё поверх прилавка. Взгляд был не враждебный, но очень внимательный: так смотрят на незнакомую птицу, прилетевшую к кормушке.

Вера открыла разговорник на разделе «В магазине» и, водя пальцем по строчкам, заказала хлеб, сыр, масло, молоко, яйца, кофе и, после некоторой паузы, бутылку вина. Кофе у неё получился «кафе», а вместо «пол-кило» почему-то вышло что-то, от чего ворона подняла брови, но ничего не сказала, а просто отрезала сыра столько, сколько сочла нужным. Хлеб оказался длинный, плоский, пахнувший оливковым маслом и солью. Вина ворона поставила на прилавок не одну бутылку, а сама выбрала, покачав головой над той, на которую показала Вера, и заменив её другой — тёмной, без этикетки, с пробкой, залитой воском.

— Nostro, — сказала она, постучав по бутылке пальцем. — Di qui.

Вера не знала этих слов, но поняла. Наше. Отсюда.

Расплачиваясь, она уже убирала покупки в сумку, когда ворона вдруг сказала, глядя не на неё, а на её руки:

— La nipote della signora Nina?

«Нина» Вера поняла. «Синьора» тоже.

—

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.